

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

“ДЛЯ ПОЛЬЗЫ СЛУЖБЫ”

Весной 1817 года перед самым окончанием Лицея, когда Пушкину исполнилось 18 лет, он пишет послание князю Н. М. Горчакову. Это уже стихи не мальчика, но мужа. А до вступления в самостоятельную жизнь ещё две недели.

Накануне последнего лицейского дня рождения Пушкина его навестил отец. Шли публичные выпускные экзамены – каждый день по одному. Они тянулись 15 дней при многочисленной публике. Посетителям предоставлено было право задавать лицеистам вопросы, что давало повод к занимательным ответам и прениям.

На 26 мая выпал экзамен по географии и отечественной статистике. Своеобразным подарком стало появление в Лицее в этот день Карамзина, Вяземского, Чаадаева и поручика лейб-гвардии гусарского полка Сабурова, пришедших поздравить Пушкина с днём рождения. Невиданное “коллективное” признание Пушкина-поэта не то что поразило остальных лицеистов, оно просто сделало очевидным: детство, ученичество, мальчишеское баловство закончились, начинается взрослая, серьёзная жизнь, в которой ты стоишь ровно столько, сколько успел вложить в историю и насколько тебя оценивают люди, действительно делающие историю. Потому этот день сохранили в памяти многие лицеисты.

На публичном экзамене по русскому языку Пушкин читал своё, как того требовал порядок, стихотворение. Однако приготовленное по такому случаю “Безветрие”, какое-то тяжёловесное и непослушное, немного странное, будто написанное в минуту болезненного состояния. Ничего нет и в помине напоминающего успех “Воспоминаний в Царском Селе”. Невольно напрашивается сравнение с художником, который, пребывая в состоянии душевного непокоя, отдаёт предпочтение мрачным краскам перед всеми другими. Вот и тут у лирического героя “ум ищет Божества, а сердце не находит”.

Но как бы то ни было – экзамены сданы. Насколько успешно? Судя по всему, это меньше всего волнует Пушкина – главное, сданы! Через несколько дней выпуск – состояние, хорошо известное каждому выпускнику любого учебного заведения, будь то школа, институт, университет, академия. Шесть лицейских лет, нельзя сказать, что пролетели, как один миг, тем не менее, завершились. Для кого-то это было время учёбы. Для Пушкина лицейские годы – время, когда в нём вызревает Поэт.

На 9 июня назначен выпускной акт. На нём лицеисты исполняют прощальный гимн, написанный Дельвигом:

*Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!*

*Друг на друге остановите
Вы взор с прощальной слезой!
Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу, с тою же душой,
То ж к славе сильное стремленье,
То ж правде — да, неправде — нет;
В несчастье — гордое терпенье,
А в счастье — всем равно привет!*

Минует десятилетие, и в тяжёлую для нескольких лицеистов годину Пушкин вспомнит эти строки, и с его подачи они сохранятся на века.

На прощание директор Энгельгардт подарил всем выпускникам чугунные кольца — символ крепкой, как металл, дружбы, — и теперь они “чугунники”. Кольца — одни, жизненные пути — разные, судьбы — врозь.

Пушкин становится офицером гвардейской конной артиллерии. Горчаков предпочтёт Коллегию иностранных дел с чином титулярного советника (9 класс). Пушкин определяется туда же, в Коллегию иностранных дел, но коллежским секретарём (10 класс), на должность переводчика — точнее, начинает в Коллегии числиться. Служба по обычаю того времени может носить сугубо формальный характер. Вместе с ними ещё Ломоносов, Кюхельбекер и Юдин избирают дипломатическую карьеру. В середине июня Пушкин приведён к присяге (в тот же день, что и Кюхельбекер и Грибоедов).

Вообще-то Пушкин желал составить компанию Пущину. Но отец, мотивируя недостатком средств, соглашался только на поступление его в гвардейскую пехоту. А дядя и вовсе убеждал предпочесть службу гражданскую. Без особой борьбы и неудовольствия Пушкин согласился с дядей и даже стал подсмеиваться над собственной мечтой “красиво мёрзнуть на параде”. Его если и прельщали бои, то бои литературные.

Родители к тому времени переехали из Москвы в Петербург, так что Пушкин перебирается из Лицея к ним на Фонтанку. 11 июля в наёмной карете вместе с Кюхельбекером, Бакуниным, Ломоносовым, Комовским, Брольо и Масловым Пушкин покидает Царское Село. Впереди и сзади тоже катят наёмные кареты с недавними сокурсниками. Прощай, Лицей!

15 июня 1817 года Пушкин дал присягу Александру I и ознакомился с двумя документами. Один — это указ Петра I “О присутствующих в Коллегии иностранных дел, о порядке рассуждения по делам особенной важности и по бумагам текущим и о назначении числа чиновников с распределением должностей между ними”. Другой — документ Коллегии от 5 марта 1744 года — о неразглашении служебной тайны. После чего он подписал документ об ознакомлении, что являлось необходимой процедурой для получения доступа к секретным документам. Другими словами, как теперь принято говорить, дал подписку о неразглашении секретных сведений.

Сергей Львович и Надежда Осиповна снимали квартиру в двухэтажном доме недалеко от Калинкина моста. Район из разряда скверных, состоятельные люди тут не селились. Комната Александра с окном в сад, но такая крошечная, что и комнатой назвать трудно, и узкая, до жути напоминающая лицейский пенал, в котором он провёл шесть лет. Из мебели одна кровать рядом с дверью. Не то что пригласить кого-то сюда, сказать, где живёшь, — стыдно. Пересилив стеснение, он осмелился привести в свои “апартаменты” только самых закадычных друзей, в ком был уверен, что не засмеют и не бросят общаться: Дельвига и Боратынского с двоюродным братом. Безденежье, полное отсутствие уюта подсказали мысль остатки первого своего вольного лета провести в Михайловском.

Сельцо Михайловское Псковской губернии — родовое имение Ганнибалов (раньше эти земли назывались Михайловская губа) — только на бумаге звучит солидно. В сущности, оно не что иное, как уголок в сельской глуши, в 400-х км от Санкт-Петербурга, в 550-ти км от Москвы. Как не преминул бы заметить Салтыков-Щедрин, усадьба находилась “в самом, как говорится, медвежьем углу нашего захолустья”.

Здесь Пушкин несколько недель радовался “сельской жизни, русской бане, клубнике и проч.”. Но долго эту идиллию выдержать не смог — шум, суетность и толпа вечно бурлящего Петербурга манили обратно. Он сам не знал, к чему он стремился больше, то ли к забавам и наслаждениям, то ли к душев-

ным встречам с думающими людьми и упорной работе. А если честно, хотелось и того, и другого.

После шести лет лицейского “заточения”, вырвавшись на волю, Пушкин бросается навёрстывать упущенное. Он предаётся радостям жизни большого света, с огромным удовольствием появляется на балах, в аристократических салонах и с не меньшим — на нецеремонных офицерских пирушках. Ловкий танцор, весёлый повеса с вызывающей любопытство внешностью, умеющий пить и заливаться соловьём — “Вы слышали? Это племянник Василия Львовича, и тоже, говорят, стихи сочиняет”. Как раз тогда случается его дуэль с Кюхельбекером и ещё немало других, бесшабашных и бессмысленных. По поводам, которые спустя несколько дней и вспомнить трудно. Чего стоила, например, причина чуть не состоявшегося поединка с Корфом: пьяный дворовый Пушкина затеял драку с лакеем Корфа, и недавние лицеисты взялись выяснять отношения меж собой.

Издержки избранного стиля (или, как теперь говорят, заработанный в глазах окружающих имидж) скоро сказались в полной мере. Пушкин становится предметом пересудов в свете. Сомнительная честь, поскольку многим кажется, что этот ветреный проказник, падкий на развлечения поэт, совсем недавно обласканный мэтрами, своими манерами и поведением перечёркивает все надежды, какие подавал.

Известная тогда драматическая актриса А. М. Каратыгина (Колосова) вспоминала, с каким упоением безудержный Пушкин, окунувшись в светскую жизнь, любил привлечь к себе внимание в обществе:

“В 1818 г<оду>, после жестокой горячки, ему обрили голову, и он носил парик. <...> Как-то, в Большом театре, он вошёл к нам в ложу. Мы усадили его, в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно. Ничуть не бывало! В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером... Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах”.

В советское время пушкинское стремление к эпатажу объясняли просто: поэт будто бы “стремился выйти за пределы тех социальных амплуа, которые были предписаны длительным употреблением, потому что искал способ быть самим собой”. Хотя на самом деле всё обстояло совсем иначе. В ту пору Пушкина больше пугало, как некогда в Лицее, что он не будет принят великосветским обществом, не впишется в него, не станет своим. И опасения на сей счёт были вполне резонны. Их питали бедность и непривлекательная внешность. И — куда более серьёзное — страх, что предложить вниманию окружающих, кроме того, что он поэт, ему нечего, — а здесь ведь не литературный кружок собрался!

Впрочем, светские знакомства бывали разные. Пушкин посещает еженедельные вечера директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. Здесь завязываются у Пушкина отношения с И. А. Крыловым. В один из дней произошло знакомство с Александром Грибоедовым. Полный тёзка оказался Пушкину собратом, близким по духу, родным по крови. У них, действительно, было много общего и похожего. Пушкин почувствовал их родство сразу, а позже в “Путешествии в Арзрум” напишет:

“Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — всё в нём было необыкновенно привлекательно. Рождённый с честолюбием, равным его дарованию, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нём как о человеке необыкновенном”.

Сегодня читаешь эти слова, и ощущение, будто Пушкин пишет о себе, или, по меньшей мере, о брате-близнеце.

Какое-то время Пушкин посещает доживающий последние дни “Арзамас”. Судя по всему, именно здесь сближается с Николаем Тургеневым и Михаилом Орловым. И происходит... то, что, вероятно, не могло не произойти. Для Пушкина герои литературных сражений с “Беседой”, решительные борцы за изящество языка и за “новый слог” Карамзин, Жуковский, Батюшков как бы меркнут в свете, исходящем от проповедников свободы и гражданских добродетелей.

Николай Тургенев был на 10 лет старше Пушкина. В нём сочетались глубокая религиозность, твёрдый и сухой ум, несколько книжная любовь к России и русскому народу и нетерпимость, когда речь заходила о борьбе с рабством (“хамством”, как он выражался). Тургенев требовал от людей бескомпромиссности, в оценках был резок, в разговорах — насмешлив и категоричен.

Чисто литературные проблемы политэконома Тургенева не волновали. Как он считал, “поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей”. Поэтому на поэзию он смотрел несколько свысока, находил **полезной** разве что агитационную, политическую лирику, ту, что должна жечь *огнём сердца людей*. Своими убеждениями он готов был заразить и Пушкина.

То было время ломки правил, крушения порядков, в какой-то мере, моды на свободу. Ничего странного, что перед вчерашними лицеистами, думающими, образованными, воспитанными на либеральных ценностях юношами, встал выбор: литература или политика, свободолобивые стишки или самая что ни на есть реальная борьба? Молодость есть молодость — и потянулись нити от выпускников Лицея к возникшему вскоре движению декабристов. Пушкин знакомится с будущими декабристами Иваном Якушкиным, Кондратием Рылеевым, Михаилом Луниным. Знакомится, но не подозревает об их конспиративной деятельности. А те не торопятся раскрывать перед ним свои планы, ограничиваясь вольнолюбивыми разговорами.

Иначе складывается судьба Пушина, Дельвига, Кюхельбекера и Вольховского — круг их знакомств приводит всех четверых в “Священную артель”. Там они близко сходятся с братьями Муравьевыми. “Священная артель” возникла как кружок служивших вместе офицеров, широко образованных, интересующихся наукой, равнодушных к судьбе Отечества, которых объединила цель пробуждения политических интересов среди своих сотоварищей, тоже офицеров. Добрая половина членов “Священной артели” раньше училась в Московском университете или университетском благородном пансионе. В. Д. Вольховский, до Лицея два года бывший воспитанником университетского благородного пансиона, надо полагать, оказался той нитью, которая связала будущих декабристов, живших в довоенной (“допожарной”, как часто говорят) Москве и учившихся в Московском университете, с выпускниками Лицея.

Пушкин приглашения участвовать в “Артели” не получил. Более того, друзья скрыли от него своё участие в ней. Почему? Станет ясно чуть позже.

Раз в две недели — по субботам — Пушкин непременно бывает в доме камер-юнкера Н. В. Всеволожского на Екатерингофском проспекте, где собиралась “золотая” дворянская молодёжь. Читали стихи, обсуждали литературные произведения, театральные постановки, беседовали “по поводу и без повода”. Дружеское общество избрало себе название: общество “Зелёная лампа” (в честь зелёной лампы, освещавшей комнату собраний). Все члены кружка носили кольца с изображением зелёной лампы, своим светом знаменовавшей Свет надежды.

Что же представляло из себя это общество? Долгое время бытовало мнение, что кружок, объединявший дворянскую, преимущественно военную молодёжь, был создан исключительно ради кутежей, волокитства и “закулисных проказ”. Рисовалось, что помимо различных домашних представлений, устраиваемых участниками, на заседаниях случались всякого рода отчаянные шалости, иногда крайне скандальные, рискованные и опасные. Например, богатырские пари относительно количества выпитых напитков и беспрестанные дуэли из-за самых ничтожных пустяков, вроде какой-нибудь случайной театральной ссоры.

Появление этой легенды приписывалось П. И. Бартеневу и П. В. Анненкову, которые пошли на поводу устных сплетен. Позднее точка зрения на “Зелёную лампу” была пересмотрена. Пушкинисты П. Е. Щёголев и В. Л. Модзалевский на основании документов установили, что “лампистов” объединяли как литературно-театральные, так и политические интересы. Здесь бывали Трубецкой, Толстой, Каверин, Дельвиг, Родзянко, Барков и Гнедич. Некоторые из участников “Зелёной лампы” были связаны с объединением будущих декабристов — “Союзом благоденствия”. Репутация кружковцев, в том числе и Пушкина, была спасена.

По свидетельству очевидца и непосредственного участника собраний Якова Николаевича Толстого, кутёж, когда и бывал, начинался после заседаний, за ужином.

Вскоре после выпуска из Лицея Пушкин был принят в тайное общество “Союз спасения”. Пушкин позже писал: “. . . по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела”.

На этом же основании был принят в общество и Вольховский. Оба из “Священной артели”. Оба постоянно видятся с Пушкиным, Пушкин – так даже часто. Чуть позже в декабристский “Союз благоденствия”, бывший своего рода преемником “Союза спасения”, вступит Николай Тургенев. С ним у Пушкина тоже и частые встречи, и откровенные беседы. Но никто поэта не зовёт подключиться к конспиративной деятельности.

Знал ли Пушкин о встречах в рамках “Союза благоденствия”? Да, но. . . Через Никиту Муравьева Пушкин был привлечён к участию лишь в тех заседаниях, которые не имели строго конспиративного характера и должны были способствовать распространению влияния общества. Много позже, работая над десятой главой “Евгения Онегина”, Пушкин обрисовал одно из таких заседаний:

*Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Им резко Лунин предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал сво<и> Нозли Пу <шкин>,
Мела <нхолический> Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.*

Если добавить, что с будущим декабристом Луниным Пушкин познакомился ещё в 1818 году во время проводов уезжавшего в Италию Батюшкова и так с ним близко сошёлся, что через полтора года перед отъездом Лунина отрезал у него на память прядь волос – картина “декабристских” связей Пушкина будет вполне реальной.

Что мешало им стать реальными по-настоящему? Отчего всё же Пушкин оказался вне рядов декабристов?

Пушкин по истечении лет убеждает всех (или больше себя?), что не открылся перед Пушкиным почти что случайно. Так ли на самом деле? Вряд ли. И он, и другие друзья не скрывали от Пушкина своих политических взглядов, но утаили свою принадлежность к тайному обществу. Почему?

Очень часто звучит объяснение, из которого следует, что причина самая что ни на есть благая: они сознавали величие гениального Пушкина и тем самым хотели сохранить поэта для Отечества, для литературы и, шире того, для национальной культуры, для Истории. Будто бы Фёдор Глинка даже сказал на сей счёт: “Овцы стадаются, а лев ходит один”. Если так, то надо признать, что именно по этой причине как раз тогда Кюхельбекер на дуэли стрелял в Пушкина и только случайно промазал (правда, попал в Дельвига, но и его, к счастью, не ранил).

Пушкин, услужливый кавалер, весёлый повеса и щёголь, завсегдатай театра и визитов к театральным артистам, мог быть их собутыльником, участником литературных баталий и даже острых политических бесед.

Пушкин-поэт, известный “по мелким стихам и по крупным шалостям”, как отзывался о нём Николай Тургенев, мог быть полезен написанием страстных стихов, пробуждающих гражданские чувства, выражающих настроения и мысли революционного поколения победителей Отечественной войны о конституции, об освобождении крестьян, о вольности святой.

Однако в качестве заговорщика-цареубийцы они его не видели. По одной причине – был чересчур безрассуден и неосторожен, болтлив и весь нараспашку. Пылкий нрав и близкое общение с людьми ненадёжными пугали заговорщиков. Поистине, *свой среди чужих, чужой среди своих*, или, как скажет сам поэт, “среди толпы затерянный певец. . .”

Имя Пушкина в те дни не сходило с уст. То всплывала театральная история про то, как беззаботный поэт во всеуслышанье рассказывал в антракте, что

в Царском Селе сорвался с цепи годовалый медвежонок и, представляете, мог запросто встретиться с императором, гуляющим по парку, после чего рассказчик скорбно сожалеет: “Нашёлся один человек, да и тот медведь!”

То в центре внимания вызывающее появление Пушкина в театральном партере с портретом французского рабочего Луи Пьера Лувеля, заколовшего кинжалом племянника короля Франции, и надписью на портрете: “Урок царям”.

То восемнадцатилетний поэт лихо, в один присест, по предложению Николая Тургенева пишет “Вольность” — поэтический трактат в 20 строк о правах народа и государя — и, бравирюя своим бесстрашием, подносит оду княгине Голицыной, наверняка зная, что светские болтуны тут же разнесут по всему Петербургу строки:

*Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!*

Он ведёт себя не вполне объяснимо даже для своих друзей. Получив некогда желанную возможность заседать в “Арзамасе”, ею почти не пользуется, пропадая вечерами у А. А. Шаховского, которого он осмеивал ещё недавно.

Жуковский как-то сказал Гоголю: “Когда Пушкину было восемнадцать лет, он думал, как тридцатилетний человек: ум его созрел гораздо раньше, чем характер”.

Мыслить он, действительно, был способен, как 30-летний, а вот поведением — мальчишка мальчишкой. Однажды во время разговора на квартире Николая Тургенева спор между ними принял столь острые формы, что Пушкин вызвал друга на дуэль, правда, тут же одумался и с извинением взял вызов обратно.

Остаётся уповать на то, что, как говорится, всё, что ни делается, всё к лучшему. Однако надо признать, что в конспиративных кругах преобладало представление о том, что Пушкин “незрел” и не заслуживает доверия. До людей, лично с Пушкиным не знакомых и питающихся слухами из третьих уст, доходили суждения, что “он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни делает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества”. Эти слова вопиющей несправедливости принадлежат не кому-то, а декабристу П. П. Горбачевскому — человеку редкой стойкости, честности и мужественности. При этом он ссылался на авторитеты повешенных С. Муравьева-Апостола и М. Бестужева-Рюмина.

А если ещё учесть вхожесть Пушкина к людям совершенно разных политических симпатий, то станет понятным, почему друзья остерегались. Остерегались, но не отталкивали от себя.

Забегая вперёд, надо непременно сказать, что действительность оказалась прямо-таки противоположной. Не Пушкин свидетельствовал против декабристов, а декабристы беззастенчиво “сдавали” Пушкина. В ходе следствия в созданном Тайном комитете для следствия по делу о декабристах постоянно фигурировали стихи и слова Пушкина. Павел Бестужев на допросе заявил, что причина его вольномыслия — стихи Пушкина. Михаил Бестужев-Рюмин сделал признание, что вольнодумные стихи Пушкина служили агитационным материалом и как прокламации распространялись по всей армии. Имя Пушкина звучит на допросах А. Бестужева, барона В. Штейнгеля, мичмана В. Дивова, капитана А. Майбороды и других в общей сложности более двадцати раз. На обороте одного из листов с показаниями декабриста П. Громницкого (Громнитского) с его слов записан текст стихотворения Пушкина “Кинжал” — стало быть, тоже указывал на поэта. Лишь Пущин на допросе на прямо поставленный вопрос нового императора о Пушкине, ответил, что поэт “был всегда противником тайных обществ и заговоров”.

А пока 25 декабря ещё впереди, и в кругу будущих декабристов на Пушкина возлагались особые надежды — как на поэта, призванного стать, воспользуемся современным понятием, имиджмейкером свободолобивых идей и людей, их разделяющих.

*...Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской, —*

писал Пушкин о своём ближайшем друге Чаадаеве, сравнивая его со знаменитыми афинским демократом и римским республиканцем. Такими сравнениями те, кого потом назовут “декабристами”, придавали своему зреющему заговору имидж деяния исторического масштаба. А что, грамотная PR-кампания, адресованная будущим поколениям!

По сути, талант Пушкина мыслился декабристскими кругами “рупором” политической пропаганды, не более того. Остальное объявлялось ими мелким и недостойным. Так, например, писать о дружбе нужно было непременно и исключительно с гражданским пафосом и противопоставлять её... любви. “Оставь другим певцам любовь! / Любовь ли петь, где брызжет кровь...” – наставлял Пушкина В. Ф. Раевский.

В знаменитом послании “К Чаадаеву” Пушкин как будто следует совету. Стихотворение переполнено гражданским пафосом, а поэт изначально отказывается от всех “личных” поэтических тем:

*Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман...*

Вновь забегая вперёд, скажу: пройдет некоторое время, и Пушкин переосмыслит прежние дружеские признания и призывы. Он резонно решит, что надежда поэта “на тронах поразить порок” и несбыточна, и вредна, так как уводит от собственно поэтических целей. Что же способствует поэтическому вдохновению? Любовь, дружба, уединение на лоне природы; надо вернуться к этим темам – вечным. Через шесть лет в стихотворении “Чаадаеву” поэт переиначит концовку послания к Чаадаеву 1818 года:

*Чадаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Придать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.*

Так что “рупор” перестанет быть агитатором и захочет остаться поэтом.

Но вернёмся в Петербург послепелицейского периода, где Пушкин продолжает дерзить всем и вся по поводу и без всякого повода, разбрасывать вызовы на дуэль направо и налево, скандалить везде, где только можно, отдавая разве что предпочтение местам публичным.

Он заканчивает исполненную радостью жизни поэму “Руслан и Людмила”, включая в неё пародийные строки на Жуковского, и с вызовом преподносит ему своё произведение. Тот не без скрытой иронии отдаривает Пушкина своим портретом с надписью: “Победителю ученику от побеждённого учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”, 1820, марта 26, Великая Пятница”.

Но в основном Пушкин пишет злые эпиграммы и политические стихотворения, которых от него ждали, честно говоря, лишь те, кто меньше всего думал о литературе. В короткое время Пушкин в кругу петербургской золотой молодёжи приобретает славу “рукописного бунтаря-вольнодумца”. Его эпиграммы не знают границ в своих адресатах. Его стихи не печатаются, а разлетаются в списках.

Самой известной из них оказалась ода “Вольность” (написана приблизительно через полгода после выхода поэта из Лицея), явившая пример поэзии откровенной гражданской устремлённости, которой так жаждали будущие декабристы.

Известны обстоятельства её написания. Очевидцы вспоминали, как, будучи в доме Николая Тургенева на политическом диспуте и глянув в открытое окно на стоящий напротив Михайловский замок, Пушкин “вдруг вскочил на

большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нём, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать”. Но Ю. М. Лотман почему-то считал эти воспоминания “правдоподобной биографической легендой”. Хотя и сам Николай Тургенев позже засвидетельствовал, во-первых, что часть оды “Вольность” Пушкин написал в одно из посещений у него дома, ночью у себя завершил её и на другой день принёс полный текст стихотворения. Во-вторых, что тема “Вольности” была предложена Пушкину именно им.

В рукописи “Вольность” обозначена как “ода”, другими словами, как тогда понимали, философский, политический трактат в стихотворной форме. Не важно, воспевают ли ода царей и героев (“похвальные” оды) или определённую историко-философскую доктрину и социально-политическую программу. Для автора “Вольности” главное – социально-политические мотивы: вера в победу и действенную силу конституционных начал в России (в 1817 году эти иллюзии ещё были живы).

Политические лозунги Пушкин преподносит в оболочке двух исторических сюжетов. Первый из них – народ Франции нарушил закон, казнив Людовика XVI; казнь эта обернулась тиранией Наполеона. Второй – в России убийство Павла I, преступления которого были ещё на памяти современников, – месть тирану, нарушителю закона. Вывод: одно преступление порождает другое преступление. Стихи, с одной стороны, предостерегали русского монарха от участи французского короля, а с другой – показывали единственную возможность предотвратить кровавую народную революцию.

Дело не в том, как порой нам представляют, будто Пушкин утверждает принцип конституционности, необходимость парламентской монархии, отчего стихотворение при таком прочтении из поэтического произведения превращается в политическую прокламацию. Дух Закона, который парит здесь над всем, значим лишь в единении со Свободой. Точно так же, как Свобода, никоим образом не выступающая в качестве бесцеремонного своеволия, боготворится поэтом лишь в единстве с Законом. Пушкин не просто ставит рядом два понятия: “вольность” и “закон” – он их объединяет. Собственно, ода не о свободе как таковой и не о законе, возведённом в высшую степень, а о необходимости их единства.

Общественное спокойствие, благополучие всех и каждого, по мысли Пушкина, возможно лишь в условиях всеобщего равенства перед законом, которое невозможно без свободы народа. Представ в маске сурового “гражданина”, Пушкин воспевает Свободу, прославляет законность, утверждает её всеобщую власть. И одновременно берётся “на троне поразить порок”, который он видит в невыполнении законов, ибо именно беззаконие ведёт к тирании и преступлению.

Этим объясняются патетика, героико-романтический пафос и стилистика – торжественные декламационные интонации, и шероховатость отдельных стихов, “нагромождение” в стихотворении политических терминов, слов-понятий строго определённого лексического ряда. Ода писалась по нормам политического красноречия, характерного для ораторского искусства. И адресована она кругу лиц, прекрасно владеющих политической риторикой. Отсюда пышный букет из “модных” слов: “свобода”, “рабство”, “тираны”, “трон”, “порок”, “закон”, “власть”, “самовластительный злодей” и т. д.

При этом в “Вольности”, в отличие от уравновешенной классицистической оды, чувствуются взволнованность и лирическая напряжённость. Тем не менее, используемая поэтом лексика вызывает строго определённые ассоциации: круг идей и сил, способных изменить состояние русского общества. Совершенно очевидно, что поэт не решает художественных задач, его ода создаётся по законам **убеждения** читателя или слушателя поэтических строк.

По большому счёту, именно поэтому весьма неприятная (ничего нового, без открытий) политическая составляющая “Вольности” приобрела откровенно революционное звучание. “Вольность”, а вслед за ней “Деревня” “тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть”, выполняя ту самую агитационную роль, какую и отводили пушкинским произведениям его друзья, устремившиеся в политику.

И всё бы ничего, .. если бы не строки оды о некоторых действительных обстоятельствах убийства Павла I, неизбежно воспринятые как обвинение Александра I во лжи, потому как официальная версия нового императора гласила, что император-предшественник скончался от апоплексического удара.

Стрелу в свой адрес царь простить Пушкину не мог, хотя некоторое время и выждал. Мнительный и злопамятный Александр I, как известно, мог простить самые смелые мысли, но никогда не прощал и не забывал личных обид.

Через десять дней после случая в театре с портретом Лувеля нарушителя спокойствия пригласил к себе “на ковёр” граф М. А. Милорадович, тогдашний петербургский военный генерал-губернатор, и “потребовал его возмутительных стихов”. Пушкин заявил, что они им сожжены, но выразил готовность написать их графу по памяти и, не сходя с места, исписал целую тетрадь. Опешивший Милорадович, затрудняясь расценить поступок Пушкина – то ли как проявление самоотверженного благородства, то ли как несусветную глупость – отпустил поэта, объявив ему прощение от имени государя.

Однако поторопился. Царь, выслушав на следующий день доклад Милорадовича, нахмурился, узнав о дарованном от его имени прощении, и не без ехидства поинтересовался: “Не рано ли?” Потом подумал и распорядился снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соблюдением возможной благовидности отправить его “на службу на Юг”.

Хотя существует и несколько иная версия отправки Пушкина в южные края. Царь намерен был избрать для поэта другое направление, в места не столь отдалённые. Но Пётр Чаадаев, адъютант генерала И. В. Васильчикова, любимца императора, стал хлопотать перед своим командиром за Пушкина. А Фёдор Глинка, адъютант для особых поручений Милорадовича, – перед своим. Ещё последовала участливая просьба Николая Карамзина непосредственно царю. За несколько дней до отъезда Пушкина из Петербурга Карамзин писал поэту Дмитриеву:

“Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей, и проч., и проч. Это узнала полиция ест. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову... , однакож, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться”.

У молодого Пушкина, к удивлению царя, нашлось немало заступников. Согласитесь, цепочка защитников более чем представительная: о смягчении участи Пушкина хлопотали Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, П. Я. Чаадаев, А. И. Тургенев, Ф. Н. Глинка, Н. И. Гнедич, А. Н. Оленин, Е. А. Энгельгардт, непосредственный начальник Пушкина граф И. А. Каподистрия. И только потому Соловки или Сибирь заменены были отправкой на Юг.

Общими усилиями заступники смогли облегчить участь Пушкина. Но только облегчить. 4 мая на письмо, подготовленном министром иностранных дел графом И. А. Каподистрия (в чьём ведомстве служил Пушкин) на имя главного попечителя колонистов Южного края России генерала Инзова, появилась Высочайшая резолюция: “Быть по сему”. Надо признать, что мягкая форма отправки Пушкина “с глаз долой”, обставленная совсем не как репрессия, а как забота о трудно взрослеющем поэте, позволяет вспомнить, что граф Иоанн Каподистрия был одним из почётных членов общества “Арзамас” и тоже более чем благосклонно относился к своему подчинённому.

В итоге: никакая не ссылка, а **командировка**. В письме Карамзина даже упомянут предполагаемый срок: *“...благополучно уехал в Крым месяцев на пять”.*

6 мая 1820 года Пушкин с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта И. Н. Инзова вынужден был отбыть на Юг. За светские шалости и “возмутительные”, по выражению Александра I, политические стихи. В официальном письме к Инзову, данном Пушкину при отъезде, отмечалось, что некоторые поэтические произведения привлекли внимание правительства к Пушкину. Среди великих красот замысла и слога они свидетельствуют об опасных началах, почерпнутых в системе, именуемой “системой прав человека, свободы и независимости народов”.

Все эти дни, пока в столице одни шушукались о его грядущей высылке из Петербурга, а другие бросились на помощь, чтобы смягчить царский гнев, Пушкин буквально не находил себе места – до него самого слух об опале дошёл одним из первых.

Как ни странно это звучит, Пушкин плохо понимал, что происходит. С одной стороны, он сознавал, что “заработать” ссылку в общем-то ничего не стоит. Современному читателю будет достаточно одного примера. В разгар арак-

чеевщины Президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки А. Н. Оленин предложил Академии наук выбрать Аракчеева в её почётные члены. Последовал чей-то осторожный вопрос о научных достижениях кандидата. Оленин ответил: “Он очень близок к государю!” На что один из академиков резонно возразил: “Придворный кучер к государю ещё ближе, так давайте сперва выберем его”. И за это насмешник тут же поплатился ссылкой.

С другой стороны, Милорадович совершенно недвусмысленно от имени царя его простил – и это молодой поэт воспринял нормально. Но затем сам царь его наказал! За что? И как так можно после прозвучавшего прощения? Это было выше его понимания. Причём, получается, наказал, собственно, даже не за стихи, а за инакомыслие. Тем самым дал ясно понять, что никакой свободы слова ему – поэту – власть давать не намерена. А как быть поэтом, не имея свободы слова?

И без того проблемная ситуация каким-то образом перевёртывалась, с точки зрения молодого Пушкина, с ног на голову. А несообразность наказания, как он его воспринял, выворачивала его натуру буквально наизнанку и травмировала сознание. Стресс как понятие появится, конечно, много позже, но стресс как состояние повышенного нервного напряжения, вызванное каким-либо сильным воздействием, существовал всегда. Состояние Пушкина в то время носило именно такой характер. И последовала острая реакция.

Мгновенно нахлынула знакомая тоска, он не “слышал” стихов, вместо них в ушах стоял “звон”. Подавленность и чувство беспомощности – от него уже ничего не зависит! – рождали в “измученной душе” тревогу и страх. Нет, совсем не тот страх, который можно назвать трусостью. И вовсе не тот, что Ариадна Тыркова-Вильямс сочтёт малодушием. Это был совсем иной страх – страх как гнёт души, болезненное состояние, которое выводило из эмоционального равновесия.

О том, что страх – никакая не выдумка, свидетельствуют строки из письма Карамзина Вяземскому: “Пушкин был несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм...” Спустя время, когда депрессия (назовём пушкинское состояние своим именем) мигнет, рассосётся, он найдёт в себе силы вспомнить усилия друзей и в эпилоге “Руслана и Людмилы” скажет:

*О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей,
Ты умолила непогоду...*

Сборы были быстрые. Позади петербургская жизнь – впереди период скитаний, жизни без постоянного и обустроенного места, без быта. И вот Пушкин в широкополой шляпе, в плаще (погода стояла ужасно жаркая), в сопровождении крепостного лакея Никиты, приставленного к сыну Сергею Львовичем, трогается на перекладных по белорусскому тракту в путь.

В кармане сложенный вчетверо “пашпорт” – подорожная, выданная Коллегией иностранных дел 5 мая 1820 года “для свободного проезда” из Петербурга к главному попечителю колонистов Южного края России генералу Инзову. Подорожная – это двойной лист бумаги большого формата. Текст её написан на первой странице рукой секретаря Коллегии, лицейского одноклассника Пушкина, М. Л. Яковлева, собственноручно подписан управляющим Министерством иностранных дел графом К. В. Нессельроде и скреплён сургучной печатью:

“По указу его величества государя императора Александра Павловича самодержца Всероссийского.

И прочая, и прочая, и прочая.

Показатель сего, Ведомства Государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь Александр Пушкин, отправлен по надобностям службы к главному попечителю колонистов Южного края России, г. генерал-лейтенанту Инзову; почему для свободного проезда сей пашпорт из оной коллегии дан ему. В Санктпетербурге мая 5-го дня 1820-го года.

Граф Нессельрод”; в самом низу, справа: “Секретарь Яковлев”.

За спиной Пушкин оставлял город, в котором провёл всего ничего, около трёх лет – “золотые годы”, – в котором он знал счастливые часы поэтического вдохновения и познал скверную славу весёлого повесы и бунтаря-воль-

нодумца, в котором создал такие несхожие “Руслан и Людмила” и “Вольность” с “Деревней”, который свёл его с такими разными людьми, как Крылов, Грибоедов и Чаадаев, Н. Тургенев... Что там впереди?

Дорога предстояла долгая — недели полторы только до Киева, а там далее, как предписано, в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Хотя, известно, Пушкин сохранял надежду, что едет в Крым. Почему Крым? Дело случая, но последнее время Пушкин сам, безотносительно к неожиданно для него проявившемуся конфликту с властью, имел намерение совершить поездку в Крым. Ещё в первой половине марта он писал П. А. Вяземскому: “Петербург душен для поэта: я жажду краёв чужих; авось полуденный воздух осветит мою душу...”.

Крым фигурирует (видимо, был на эту тему разговор) и в переписке начала мая К. Я. Булгакова и А. Я. Булгакова. Первый пишет: “Пушкин — поэт, поэтów племянник, вчера уехал в Крым. Скажи об этом дяде-поэту”.

В ответ следует вопрос: “Зачем и с кем поехал молодой Пушкин в Крым?”

В Киеве поэт остановится у Раевских. Надо полагать, именно здесь Пушкин получил окончательные заверения, что Раевские помогут ему попасть на Кавказ и в Крым. Не будем забывать, ведь он не сосланный. Так что часто звучащая мысль, будто отправленный в южную ссылку поэт случайно встретился в Екатеринославе с семьёй генерала Н. Н. Раевского, едущей на Кавказ, в Крым, вряд ли верна. Хотя факт остаётся фактом: именно в Екатеринославе, в “местности Мандрыковка, в доме Краконихи” Н. Н. Раевский-младший найдёт заболевшего поэта (после купания в Днепре в 20-х числах мая) и по ходатайству генерала Раевского Инзов отпустит больного Пушкина с ними “для лечения”.

Так случилось, что 15 мая, в тот самый день, когда Пушкин как раз подъезжал к Киеву, цензор Тимковский подписал разрешение печатать поэму “Руслан и Людмила”. А потому можно сказать, что через царскосельскую заставу на юг выехал уже автор стихов, известность и признание которого наконец-то вышли за узкие рамки круга друзей.

Поэма, начата ещё в Лицее, увидит свет в конце июля — начале августа. Она вызовет разноречивые толки, совсем не всегда одобрительные. Особенно холодно “Руслана и Людмилу” приняли Карамзин и его последователи. Вокруг поэмы разгорятся критические споры, из которых станет ясно: отныне и в глазах общества он не альбомный стихослагатель и не автор сумасшедших эпиграмм, а поэт, причём поэт-новатор, сумевший явить присутствие автора в каждой “клеточке” повествования (принцип авторского самовыражения он превратил в организующее начало поэмы). Отказавшись от прежней литературной условности, над которой он откровенно потешался, Пушкин писал о том, что ему лично было интересно.

Весело и непринуждённо он перемешал в поэме самые разные традиции, жанры, стили, историческую героику с элегической меланхолией, национальный колорит с фантазией, явил на свет немислимую стилистическую свободу, чтобы полностью завладеть вниманием читателя. Добродушный, но умный юмор поэмы, смелое соединение жизнерадостности русской волшебной сказки со средневековым рыцарским эпосом произведут столь сильное впечатление, что для большинства современников поэт станет певцом Руслана. Впрочем, сам Пушкин свою первую поэму, сравнивая её впоследствии с “Кавказским пленником” и “Бахчисарайским фонтаном”, считал холодной.

До Царского Села опального поэта сопровождали-проводжали лицейские однокурсники Дельвиг и Яковлев (тот самый, чья подпись стояла на подорожной). Никто из друзей-вольнодумцев, на кого работало его агитационное перо и помогло заработать ему высылку из столицы, провожать не пришёл. Мавр сделал своё дело...

Здесь стоит ненадолго остановиться на том, почему, однако, в сознании скольких уже поколений этот период жизни поэта именуется не иначе как “южная ссылка”. Заодно вернёмся ещё раз к теме мотивации изгнания Пушкина из столицы. В сущности, можно назвать три возможные причины расправы с поэтом. Первая — по совокупности грехов: тут и вызывающее поведение, и собственноручно стихи (“Наводнил Россию возмутительными стихами”, — будто бы сказал царь). Вторая — личная обида злопаметного самодержца на пушкинские строки в оде “Вольность” про обстоятельства убийства Павла I и обращённые непосредственно к Александру I:

*Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.*

И третья – появление эпиграммы на графа Аракчеева:

*В столице он — капрал, в Чугуеве — Герон:
Кинжала Зандова везде достоин он.*

Говорить с железной уверенностью, разумеется, нельзя, но... Будем рассуждать. Первая причина вполне вероятна. Кстати, именно она ближе всего к официальной версии. И уже потому вызывает сомнения, так как бюрократическая машина никогда не бывает чистосердечна, она всегда говорит на своём “эзоповом” языке, обычно одно, действительное, подменяя другим, похожим на правду.

Вторая причина, конечно, тоже возможна. Но чтобы мнительный царь ждал почти полтора года (с момента появления оды), прежде чем нанести ответный удар? Как гласит широко известная реплика одного из современных киногероев, “сомневаюсь я, однако”.

А вот третья причина выглядит более всего похожей на реальность. Было бы странно, если восемь желчных строк, которые можно расценить как публичную пощёчину Аракчееву, избраншему девизом своего герба красивые слова “Без лести предан”, прошли для их автора без последствий. Дело ведь не в том, что всесильный временщик назван “притеснителем” и “мучителем”. Куда унизительней, что последним стихом Пушкин переводит звучный девиз графа на его любовницу Настасью Минкину (убитую в 1825 году дворовыми за её жестокость).

*Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? Преданный без лести,
<Бляди> грошевой солдат.*

Задетый эпиграммой царский любимец Аракчеев внушает царю необходимость примерно наказать вольтерьянца, посмевшего грозить Зандовым кинжалом. При этом граф мог упомянуть и про недавний эпизод в театре с надписью “Урок царям”. Отсюда и первая реакция: опасен, а потому – Соловки или Сибирь.

Нельзя исключить и более сложный вариант. Возникла ситуация, когда одновременно сработали (каждая в своей мере) сразу все три причины: злопамятный царь, злокозненный Аракчеев и злосчастная совокупность вызывающего поведения и возмутительных стихов.

Но царь, примем во внимание психологию Александра I, внушаем не только со стороны Аракчеева. Развёрнутая кампания по спасению Пушкина внушила обратное: да несколько не опасен, обычная юношеская бравада и глупость, но зато талантлив. И царь решает: совсем пройти мимо – обидеть Аракчеева, наказать сильно – мальчишка, что с него взять, самое оно – отправить куда подальше, чтобы не больно тут досаждал уважаемым людям. Про Юг никто не скажет, что это Сибирь, но и скакать туда две недели – довольно с него, авось поумерит там свой пыл и поуумнеет.

Так называемая ссылка в Кишинёв под покровительство добрейшего генерала И. Н. Инзова была по форме порицанием за юношеское фрондёрство, по существу – для окружающих Пушкина – чем-то вроде творческой командировки, в которой совсем ещё молодой человек знакомился с жизнью и развивал своё дарование. Но сам поэт, ненавидевший деспотизм, воспринял происшедшее с ним как насилие над личностью, несвободу, именно как проявление деспотизма по отношению к нему. А потому расценил вынужденный отъезд, которому придан характер перевода “для пользы службы”, именно как ссылку. Тем не менее, формально Пушкин не был сослан.

Забегая вперёд, скажу, что позже то же можно будет сказать и про его вынужденное сидение в Михайловском (в 1824–1826 годах), которое было всё же родовым именем Пушкиных-Ганнибалов, а не тюрьмой и не каторгой, хотя уже и напоминало во многом “подписку о невыезде” или нахождение под домашним арестом.

Кстати, многие из тех, с кем Пушкин тогда общался, а позднее и часть его биографов считали эту высылку из Петербурга на Юг великим благодеянием для него. Ни соглашаться, ни спорить здесь невозможно. Да, гений Пушкина сумел обратить на великую себе пользу постигшее его несчастье. Но от этого оно не перестало быть для него несчастьем. И, прежде всего, вряд ли следует признать благоприятным для развития молодого поэта отсутствие у него полной свободы. Настроение Пушкина в годы пребывания на Юге напрямую связано с естественным недовольством своим положением поднадзорного изгнанника, вначале вроде бы отправленного всего лишь на несколько месяцев, а потом, как выяснилось, насильственно удерживаемого вдали от столицы, куда его тянуло.

Потому-то, начиная с первого созданного на Юге произведения – элегии “Погасло дневное светило...”, – в поэзии Пушкина возникает мотив вынужденного или добровольного изгнанничества. Зачастую он объясняется вторжением в творчество поэта романтизма с привычными и характерными для него темами. Так-то оно так, только первичен ли тут романтизм?

И в связи с этим следует на некоторое время вернуться к моменту, когда Раевский-младший застаёт в Екатеринославе больного Пушкина после купания в Днепре. Ну, приболел. Казалось бы, с кем не бывает. Но зачем он полез в холодную воду? Просто искупаться? Или столь необычным способом (по принципу “клин вышибают клином”) пытался выйти из депрессивного состояния, снять стресс, преследующий его с того времени, как было объявлено о немедленном откомандировании на Юг? Странная ситуация: ведь выздоровев, он опять *стареется* заболеть – и эту “процедуру” проделывает несколько раз.

Рассказ домашнего доктора Раевских, лекаря Евстафия Петровича Рудыковского, которого Н. Н. Раевский-младший отправил к Пушкину, находившемуся “в бреду, без лекаря, за кружкой обледенелого лимонада”, вполне подтверждает наш “диагноз”:

“Приходим в гадкую избёнку, и там, на досчатом диване, спит молодой человек – небритый, бледный и худой.

– Вы нездоровы? – спросил я незнакомца.

– Да, доктор, немного пошалил, купался. Кажется, простудился.

Осмотревши больного, я нашёл, что у него была лихорадка... Посоветовавши ему на ночь выпить чего-нибудь тёплого, я оставил его до другого дня...

Поутру гляжу – больной уже у нас, говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Р. по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма. Пишу рецепт.*

– Доктор, дайте что-нибудь получше. Дряни в рот не возьму.

*На рецепте надо написать кому. Спрашиваю – Пушкин. Фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу как самого простого смертного, и на другой день закатил ему хины. Пушкин поморщился. Мы поехали далее. На Дону обещали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался: покушал бланманже** и снова заболел.*

– Доктор, помогите.

– Пушкин, слушайте.

– Буду, буду.

Опять микстура, опять пароксизм и гримасы.

– Не ходите, не ездите без шинели.

– Жарко, мочи нет.

* Пароксизм – раздражение, возбуждение, бурная реакция, например, пароксизм гнева; ухудшение состояния или рецидив болезни; внезапный приступ спазмов или судорог. (Кстати, “посещение пароксизмов” отмечал у себя и А. Грибоедов в переписке с Ф. Булгариным и И. Паскевичем, – действительно, братья по несчастью.)

** Бланманже – сладкое десертное блюдо (сильно охлаждённое желе на основе молока с добавлением орехов, шоколада, кофе или какао; мороженое).

- Лучше жарко, чем лихорадка.
 - Нет, лучше уж лихорадка.
- Опять сильные пароксизмы.
- Доктор, я болен.
 - Потому что упрямы. Слушайте.
 - Буду, буду”.

Спустя несколько месяцев Пушкин напишет своему младшему брату Льву: “... я лёг в коляску больной; через неделю вылечился”.

Далее были два месяца на Кавказе. Потом Крым, где к Пушкину наконец-то возвращается душевное равновесие, позволяющее “думать стихами”. Он посещает Керчь, Кефу (Феодосия), три недели проводит в Юрзуфе (Гурзуф)... Ночью на корабле была написана элегия “Погасло дневное светило...” с чудесной картиной южной ночи, в которой было найдено равновесие между стихией внутреннего чувства, владеющего поэтом, и стихией внешней – бескрайнего волнующегося моря, валы которого подобны накатывающим на душу воспоминаниям. Герой стихотворения – изгнанник, одиночество и страдание которого не имеют исхода, а чувства не находят утolenия.

Затем Алупка, Севастополь и Бахчисарай, Каменка, имение матери Раевского, а оттуда – на место службы в Кишинёв, так как во время странствований Пушкина Инзов временно был назначен наместником Бессарабской области.

На какое-то время Петербург, с его обидами и страстями, приятелями и увлечениями, оказался, можно сказать, просто стёртым если не из памяти, то из мыслей точно. Не случайно за всё это время Пушкин не написал ни одного письма (в отличие от большого числа писем из Кишинёва и Одессы). Мир словно сузился до семьи Раевских на фоне панорамы Кавказа и Крыма.

Но всему рано или поздно приходит конец. Пушкин писал:

“Я не видел в нём героя, славу русского войска; я в нём любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою, снисходительного попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества”.

После счастливейших минут жизни, проведённых “посреди семейства почтенного Раевского”, Пушкина ждал прелестный край с жарким полуденным небом Бессарабии.